



Электронная библиотека
Гражданское общество в России

А. Л. Янов

Славянофилы и внешняя политика
России в XIX веке

Электронный ресурс

URL: <http://www.civisbook.ru/files/File/1998-6-16-Yanov.pdf>

URL: <http://www.civisbook.ru>

СЛАВЯНОФИЛЫ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XIX ВЕКЕ

А.Л. Янов

ЭВОЛЮЦИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ

Славянофилы начинали в эпоху общелиберальной борьбы против российского средневековья, воплощенного в 1830-е годы в николаевской диктатуре, как партия преимущественно патриотическая, как преемники декабристов, как часть освободительного движения. Они, без всякого сомнения, были искренними и страстными противниками угнетения во всех его формах – крепостного ли права, цензуры или полицейского надзора над мыслью страны. И важным в пылу общей борьбы против николаевского деспотизма казалось именно это.

В эпоху Великой реформы, однако, оказались они вдруг на противоположной стороне баррикады от всех, кто хотел видеть Россию нормальной европейской страной. Стало, в частности, ясно, что вдохновляло их на борьбу с деспотизмом не европейское будущее России, а ее средневековое прошлое, не радикальная модернизация страны, а консерватизм, не идея, по выражению Чаадаева, “присоединения к человечеству”, а то, что называл В.Соловьев “национальным особнячеством”. Славянофильство заговорило вдруг языком того самого “государственного патриотизма” и “скрежещущего мракобесия”, с которым оно так отважно и самоотверженно воевало в эпоху диктатуры.

Как все романтики, славянофилы всегда презирали политику, почитали ее изобретением западным, вредным, которому не место на Святой Руси. Но кризис-то, бушевавший в стране, был как раз политическим. Невозможно оказалось и дальше сидеть на двух стульях, воспевая одновременно и свободу, и самодержавие. Нельзя было одинаково ненавидеть и парламентаризм, и душевредный деспотизм. Короче, прав был К.Леонтьев, пробил час выбора – с кем ты и против кого. Время полулиберального (умеренного) либерализма кончилось. Приходилось выбирать. А выбор-то был невелик. Как сказал И.Аксаков, “теперешнее положение таково, что середины нет – или с нигилистами, или с консерваторами. Приходится идти с последними, как это ни грустно” (1). В условиях тогдашнего кризиса идти с консерваторами, т.е. с беззаветными защитниками самодержавия, могло означать только одно. Славянофильству предстояла драматическая метаморфоза. Оно должно было превратиться в национализм. Соответственно, неприятие Европы уступало в нем место ненависти, “национальное самообожание” вытеснило “национальное самодовольство”, сохранявшее еще черты декабристской самокритики. И на обломках ретроспективной утопии должен был вырасти монстр рокового для страны национализма “бешеного”.

Соловьев угадал направление деградации славянофильства. Покинув его ряды, но не успев еще облечь свою догадку в отточенную формулу, он так отвечал своим критикам: “Меня укоряли в последнее время за то, что я, будто бы, перешел из славянофильского лагеря в западнический, вступил в союз с либералами и т.д. Эти личные упреки дают мне только повод поставить теперь следующий вопрос, вовсе уж не личного свойства: где находится нынче тот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться?... Какие научно-литературные и политические журналы выражают и развивают “великую и плодотворную славянофильскую идею”? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же увидеть, что... славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием те взгляды и тенденции, которые мы находим в нынешней “патриотической” печати. При всем различии своих тенденций от крепостнической до народнической, и от скрежещущего

мракобесия до бесшабашного зубоскальства, органы этой печати держатся одного общего начала – стихийного и безыдейного национализма, который они принимают и выдают за истинный русский патриотизм; все они сходятся также в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала – в антисемитизме” (2, с.356).

Читатель, сколько-нибудь знакомый с отечественной “патриотической” прессой, не сможет избавиться от ощущения, что речь идет о газете “Завтра” или о журнале “Молодая гвардия”. Но Соловьев говорил, конечно, о “Московских ведомостях”, где Михаил Катков, иронизируя над “всякого рода добродетельными демагогами и Каями Гракхами”, ликовал, что “пугнул эту сволочь высокий патриотический дух, которым мы обязаны польскому восстанию” (3, вып.18, с.66).

Еще в 1890-е могли читатели прочесть бравые пассажи генерала А.Киреева, возглавившего старую гвардию после смерти И.Аксакова: “Мессианистическое значение России не подлежит сомнению... Одно только славянофильство еще может избавить Запад от парламентаризма, монархизма, безверия и динамита” (4). Но был это уже, увы, закат старой гвардии. Достаточно сравнить “мессианистическую” уверенность Киреева с рекомендациями славянофилов второго призыва, чтобы понять, насколько нелепо звучала она в эпоху, когда властителями славянофильских дум были уже Н.Данилевский и К.Леонтьев.

Первое издание “России и Европы” Данилевского, опубликованное еще в 1871 г., прошло тогда практически незамеченным. Популярность работа приобрела лишь после националистической контрреформы Александра III, когда правительство возвело ее в ранг официальной философии истории. (Она даже рекомендовалась преподавателям в качестве настольного пособия.)

Но и в 1871 г. Данилевский вовсе не намеревался, в отличие от Киреева, избавлять Запад от его недугов. Он этим недугам радовался. Ибо его Россия была осажденной крепостью, и всю жизнь жил он в ожидании момента, когда “Европа опять обратится всеми своими силами и помыслами против России, почитаемой ею своим естественным, прирожденным врагом” (5). Еще радикальнее был Леонтьев, предлагавший не ожидать, пока Запад “обратится против России”, а самим обратиться против него, поскольку “разрушение западной культуры сразу облегчит нам дело культуры в Константинополе” (6).

Разумеется, для старой гвардии и Данилевский, и Леонтьев были всего лишь самозванцами, пытавшимися присвоить идейное наследство славянофилов. Естественно, с другой стороны, что славянофилы второго призыва, в свою очередь, считали обломки старой гвардии лишь замшелыми эпигонами отцов-основателей, давно утратившими какое бы то ни было представление о реальности.

Так или иначе, однако, конкуренция за славянофильское наследство разгорелась отчаянная. Не приспособившись к новым настроениям националистической публики, старая гвардия просто выпала бы из игры. Как и предвидел Соловьев, она приспособлялась.

На практике, увы, приспособиться означало переродиться. И притом самым драматическим образом. Но пути назад, к благословенным идеям умеренного национализма, к утраченной невинности первоначальной “ретроспективной утопии” (Чаадаев) уже не было.

При всех натяжках и противоречиях этой утопии, при всем средневековом ее характере справедливость требует признать, что ее создатели от имперской болезни были свободны. Вождения имперских геополитиков они не только презирали, они их игнорировали. Брезговали их суетностью, их дикими амбициями. За исключением платонического сочувствия к поработанным

Турцией и Австрией соплеменникам, своей внешней политики у родоначальников славянофильства не было. Для “молодогвардейцев” же именно внешняя политика стояла во главе угла. И конкурировать с ними, не отбросив брезгливость отцов-основателей, было невозможно. Начав с отвержения крепостничества, наследники ретроспективной утопии обнаружили себя пособниками его увековечивания, и либеральный бюрократ Столыпин оказался вдруг Немезидой славянофильства. Еще более жестокая ирония заключалась в их неожиданном прыжке в геополитику. Логически рассуждая, ничего особенно неожиданного в нем, впрочем, не было. Что еще оставалось им делать, если дома почва уходила у них из-под ног, и единственно живой из всех некогда знаменитых утопических идей оказалось периферийное для отцов-основателей сочувствие зарубежным славянам?

Удивляться ли тому, что славянофильство превратилось в панславизм и Аксаков заговорил вдруг языком Данилевского? “Пора догадаться, – писал он теперь, – что благосклонность Запада мы никакою угодливостью не купим. Пора понять, что ненависть, нередко инстинктивная, Запада к православному миру происходит от иных, глубоко скрытых причин; эти причины – антагонизм двух противоположных духовных просветительных начал и зависть дряхлого мира к новому, которому принадлежит будущность” (7, с.5).

Но, с другой стороны, один на один с “дряхлым миром” России, как показал опыт Крымской войны, было не совладать. Выход из этого неудобного положения, который предложил Аксаков, был ничуть не оригинален. В особенности для “мира, которому принадлежит будущность”. Ничего лучшего не придумал он, нежели по старой привычке “белого патриотизма” искать будущее в прошлом – обратиться к идеям николаевского лейб-геополитика М.Погодина. Тот высчитывал, сколько “нас” и сколько “их”, и размышлял, что выйдет, если к российским 60 миллионом прибавить еще 30 миллионов братьев-славян, рассыпанных по всей Европе, и вычесть это количество из Европы. “Мысль останавливается, дух захватывает!” Не мог, конечно, Аксаков забыть, что все погодинские геополитические восторги ничего, кроме Крымского позора, России в 1850-х не принесли, – он-то был живым свидетелем произошедшего тогда. Но и воспоминания о катастрофе не удержали его от панславистского соблазна. Он был теперь убежден, что вовсе не отмена крепостного права и не Великая реформа способны приблизить страну к славянофильскому идеалу, а Всеславянский Союз. Только он и есть единственный путь к возрождению московской Атлантиды. Единственный, поскольку невозможно было, с его теперешней панславистской точки зрения, положить раз и навсегда предел интригам и коварству Запада и начать выращивать славянофильское будущее/прошлое в России.

Европа и в особенности “Иуда-Австрия”, которая не только предала Россию в 1854 г., но и оказалась “самым коварным врагом славянства”, поработившим самую его культурную восточноевропейскую ветвь, почиталась теперь врагом номер один. Ибо “вся задача Европы состояла и состоит в том, чтобы положить предел материальному и нравственному усилению России, чтобы не дать возникнуть новому миру – православно-славянскому, которого знамя предносится единою свободною славянской державой Россией и который ненавистен латино-германскому миру” (7, с. 108).

Так, незаметно для самого себя и вроде бы даже вполне органично, перерастало невинное “национальное самодовольство” славянофилов в имперскую болезнь.

“РОССИЯ СОСРЕДОТОЧИВАЕТСЯ...”

В первое десятилетие после Крымского разгрома внешнеполитическая ситуация России складывалась, однако, совсем неблагоприятно для новорожденной славянофильской геополитики. Петербургский

внешнеполитический истеблишмент во главе с князем А.Горчаковым не был готов к такому новому повороту. Жил князь, конечно, мечтой о реванше за Крым, которую выразил знаменитой и по сей день восхищающей российских геополитиков фразой – “Россия сосредоточивается”. Но славянофильские/панславистские идеи в его стратегии реванша не фигурировали поначалу вовсе.

Достаточно сказать, что основывалась эта стратегия на тесной дружбе с ненавистной славянофилам Турцией, а стало быть, на предательстве балканских славян и на Тройственном союзе, включавшем, естественно, кроме Пруссии, и “самого коварного врага славянства”. Но, оставляя в стороне славянофильское негодование, даже просто с точки зрения национальных интересов страны, выглядело горчаковское “сосредоточение России” парадоксально. Выдавая султану вчерашних союзников и подопечных, в особенности греков, которых Россия уже столько раз предавала в прошлом, она, конечно, не укрепляла свое влияние на Балканах.

Куда хуже, однако, было то, что во имя сиюминутных выгод Горчаков, ослепленный жаждой реванша, всемерно способствовал созданию долговременного смертельного антагониста России, несопоставимо более опасного, нежели все ее вчерашние противники. Обязавшись охранять тыл и фланги Пруссии во время ее войны с Францией в 1870 г., Горчаков, тем самым, несет ответственность за возникновение на русской границе могущественной военной империи – Второго рейха. Между тем, одного его слова было достаточно, чтобы этого не произошло. Во всяком случае в 1875 г., когда Бисмарк готовил карательную экспедицию против той же Франции, слова России оказалось и впрямь достаточно, чтобы ее предотвратить. Однако в момент, когда решалось, быть или не быть бисмарковскому Рейху, летом 1870 г. мир от России не услышал ни звука. Но об этой роковой ошибке Горчакова нам еще предстоит говорить.

Самым унижительным из пунктов Парижского договора 1856 г., подведшего итог Крымской войне, было запрещение России иметь на Черном море военный флот. Вокруг отмены этого пункта и крутилась на протяжении полутора десятилетий вся ее внешняя политика. Для того и флиртовал Горчаков поочередно то с Францией, то с Турцией, то с Германией. Но если флирт с Францией привел лишь к тому, что черногорцы и сербы заговорили вдруг по-французски охотнее, чем по-русски, то флирт с Турцией требовал жертв. Хотя бы потому, что она, как и Россия, была страной имперской и главный ее интерес состоял в том, чтобы держать в повиновении православные народы Балкан. Во имя черноморского флота Россия соглашалась ей в этом содействовать. Славянофилы могли сколько угодно объявлять такую политику Горчакова бессовестным предательством единоверцев. Но в 1870-е, покуда их романтическое негодование не совпало неожиданно с вполне прагматическими планами германского канцлера О. фон Бисмарка, никто их не слушал. Письма Горчакова турецкому султану напоминали аналогичные поклоны графа Каподистрия при Александре I. Вот пример: “Уже много лет, – писал в Константинополь Горчаков, – мы не переставали твердить христианским народам под владычеством султана, чтобы они терпели, доверяясь добрым намерениям своего государя. Мы предложили начало невмешательства во внутренние смуты Турции, твердо обязавшись держаться этого принципа” (3, вып.22, с.8).

На практике это означало следующее. Когда во второй половине 1860-х годов вспыхнуло восстание на Крите, которое было, конечно, логическим продолжением греческой революции 1820-х, Россия активно помогала султану справиться с восставшими греками. Именно по ее инициативе была созвана конференция великих держав, предъявившая ультиматум Греции и потребовавшая от нее не допускать образования на своей территории вооруженных банд для нападения на Турцию и вооружения в греческих гаванях судов, предназначенных содействовать каким-либо способом попытке восстания

во владениях султана. Восставшие критяне оказались изолированными и были, естественно, раздавлены турецкой карательной экспедицией. И это повторялось во всех случаях, когда волновались православные подданные султана.

Конечно, Парижский договор запрещал России покровительство балканским единоверцам. Но ведь он ни в какой мере не предписывал ей содействовать их подавлению. А делала она именно это.

Но самым удивительным было совсем другое. Принеся неисчислимые жертвы во имя черноморского флота, она, как оказалось, даже и не намеревалась его строить. Во всяком случае, когда нужда в нем и впрямь возникла (во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.), у России по-прежнему не было на Черном море ни единого военного корабля. В результате ей пришлось вести войну с наспех вооруженными коммерческими судами. И Парижский договор был тут совершенно не при чем. Его отменили еще в 1871 г.

История его отмены столь много и столь красноречиво говорит нам как о пост-Крымском “сосредоточении России”, так и о фантастической бездарности всей реваншистской политики Горчакова, что заслуживает особого обсуждения.

ДЕПЕША ГОРЧАКОВА

В начале 1860-х годов Бисмарку случилось быть прусским послом в Петербурге. И так очаровал он российский внешнеполитический истеблишмент, что на протяжении всех десятилетий своего канцлерства оставался для него *persona gratissima*.

Так или иначе он, признанный гроссмейстер международной интриги, советовал Горчакову поставить Европу перед фактом – просто начать строить флот на Черном море и подождать, пока Россия спросит, что происходит. Тем более, что и спрашивать-то было в тот момент особенно некому.

С Турцией как главной заинтересованной стороной отношения оставались самыми приятельскими. Франция так глубоко увязла в итальянских делах, что ей было не до Черного моря. У Англии сухопутных сил не было. Австрия оказалась втянутой в конфликт и с Францией (вышвыривавшей ее из Италии), и с Пруссией (вышвыривавшей ее из Германского союза). Короче, пока державы успели бы разобраться со своими собственными делами, черноморский флот России и в самом деле мог быть создан.

Но его-то строить, как мы теперь знаем, никто и не собирался. Не в нем было дело. Горчаков жаждал реванша, а не флота. Нужен ему был символический жест, демонстративное отвержение унижительного документа. Стукнуть кулаком по столу, да так, чтоб Европа смолчала, – вот о чем мечтал князь.

Но такое могло произойти лишь в одном случае: если буря разразится в Европе и внезапно обрушится какая-нибудь из великих держав, а лучше бы всего – хранительница Парижского трактата Франция. Короче, нужно было Горчакову, чтобы соотношение сил в Европе изменилось драматически и необратимо. Никто, кроме Бисмарка, не мог ему преподнести такую международную драму. Конечно, это означало, что на месте “чисто и исключительно оборонительной комбинации германских государств” (цитирую Горчакова) возникнет грозный военный Рейх (8, с.97). Но игра, по его мнению, стоила свеч.

Тут уместно сказать несколько слов о действительной цене горчаковского реванша. На протяжении 15 лет после Парижского договора Россия только и делала, что “сосредоточенно” готовила беду на свою голову. Мало того, как деликатно заметил еще в начале века французский историк, она

неосмотрительно “согласилась на такое потрясение Европы, которое должно было заставить ее... вооружаться так, как ей никогда еще не приходилось” (8, с.92). Дважды в XX столетии вторгнется Германский рейх в ее пределы, и лишь ценою неисчислимых жертв и крайнего напряжения всех своих ресурсов сможет она отстоять свою национальную независимость.

Говоря словами Талейрана, то, что натворил Горчаков, было больше, чем преступление. Это была ошибка. И притом убийственная (не удержусь от замечания: хорошо бы тем, кто так восхищается Горчаковым, поинтересоваться сначала, что же все-таки принесла России маниакальная горчаковская жажда реванша).

Все это, впрочем, лишь предисловие к тому грандиозному всеевропейскому скандалу, который вызвала депеша Горчакова, разосланная всем державам-участницам Парижского договора в разгар франко-прусской войны. Смысл ее состоял в том, что Россия больше не считает себя связанной условиями Парижского договора. “По отношению к праву, – писал Горчаков, – наш августейший государь не может допустить, чтобы трактаты, нарушенные во многих существенных и общих статьях своих, оставались обязательными по тем статьям, которые касаются прямых интересов его империи... Его императорское величество не может допустить, чтобы безопасность России была поставлена в зависимость от теории, не устоявшей перед опытом времени, и чтобы эта безопасность могла подвергнуться нарушению вследствие уважения к обязательствам, которые не были соблюдены во всей их целостности” (3, вып.22, с.9).

Это был, конечно, вздор. Тот же Горчаков всего четыре года назад и в столь же категорической форме настаивал, что изменения в международных договорах недопустимы без согласия всех заинтересованных сторон. Французский историк констатирует: “Эта бесцеремонная отмена договора, вошедшего в публичное европейское право, была плохо принята в Вене, в Риме и особенно в Лондоне” (8, с.97). Но даже для циничнейшего из европейских политиков – Бисмарка, безоговорочно к тому же поддерживавшего Россию, это был скандал. “Обыкновенно думают, – писал Бисмарк, – что русская политика чрезвычайно хитра и искусна, полна разных тонкостей, хитросплетений и интриг. Это неправда. Она наивна” (3, вып.22, с.10).

Заканчивалась, однако, горчаковская депеша требованием скромнейшим: “Его императорское величество не может больше считать себя связанным обязательствами Парижского договора, поскольку они ограничивают права его суверенитета на Черном море” (8, с.98). То есть опять все свелось к тому же черноморскому флоту, который никто и не думал строить. Гора, можно сказать, родила мышь. Бисмарк советовал рубить под корень: отказаться от договора – и баста. В этом случае, заметил он, России были бы благодарны, если б она потом уступила хоть что-нибудь. Иначе говоря, стукнуть-то Петербург кулаком по столу стукнул, но сделал это глупейшим образом. Новое унижение России было неизбежно.

Европа взорвалась единодушным негодованием (Англия даже угрожала разрывом дипломатических отношений). Пруссия с Турцией, такие вроде бы друзья, и те присоединились к общему хору. Пришлось согласиться на международную конференцию по пересмотру Парижского трактата. “Мы открываем дверь для согласия, – писал Горчаков своему послу в Лондоне, – мы открываем ее даже настежь, но мы можем пройти в нее только под условием – не наклонять головы”. Имелось в виду: депешу мы не аннулируем ни при каких обстоятельствах.

Европа, однако, была неумолима. Она требовала конференции без всяких предварительных условий. Пришлось-таки наклонить голову, согласившись

вдобавок выслушать публичный выговор лондонской конференции 1871 г., постановившей, что державы признают существенным началом международного права то правило, по которому “ни одна из них не может ни освободиться от договора, ни изменять его постановлений иначе, как по согласию всех договаривающихся сторон”. Право открывать проливы для военных судов других держав предоставлялось исключительно султану. А это означало, что в случае конфликта с Турцией российский флот неизбежно будет сведен до положения озерного, практически заперт в Черном море. “Мы оказались более турками, чем сами турки”, – как с горечью заметил царь, подводя итог горчаковскому “сосредоточению России”.

ПРОБЛЕМЫ ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОЮЗА

Для славянофилов вся эта непрерывная череда унижений была последним доказательством, что дальше так продолжаться не может. Только Всеславянский союз под эгидой России и со столицей в Константинополе сможет поставить, думали они, зарвавшийся “дряхлый мир” на подобающее ему место. И если создание его требует взорвать давно уже сгнившую Порту и расчлнить “самого коварного врага славянства”, значит, быть посему. Не флиртовать для этого следует с турками и австрийцами, а воевать с ними. Опять, короче говоря, крестовый поход.

Но как это сделать? Как развернуть лицом к Константинополю замшелый петербургский истеблишмент? И как убедить кандидатов во Всеславянский союз, к которым причислялись и греки, и чехи, и даже венгры, не говоря уже о черногорцах и сербах, что они и впрямь идут на смену “дряхлому миру”, если только согласятся перейти под начало великого православного самодержца? Трудности тут были невообразимые.

Начать с того, что соплеменники вовсе не считали Запад “дряхлым миром”. Точно так же, как ныне российская молодежь, стремились они перенять у Запада все, что возможно. Аксаков и сам мог в этом убедиться, когда в 1860 г., в пору краткого флирта с Францией, ездил в качестве представителя только что созданного тогда в Москве Славянского благотворительного комитета в единоверную и единоплеменную Черногорию. Ее хозяин князь Данило, к тому же, был всем обязан России, так что где-где, но уж в его-то дворце русское влияние должно было, казалось, преобладать. На деле же, как сконфуженно признавался Аксаков, “на самой видной стене гостиной красовались в богатейших золотых рамах портреты во весь рост Наполеона III и императрицы Евгении. Портрета русского императора мы не заметили”. За обедом “вокруг меня раздавался французский язык, сидели мы за столом, изготовленным французским поваром и сервированным французским метр д’отелем, и разговор шел большей частью о Париже” (7, с.67, 72).

В 1867 г. в Москву на славянскую этнографическую выставку, организованную аксаковским комитетом, съехались литераторы и ученые из всей Восточной Европы. В их честь давались банкеты, рекой лилось шампанское и в тостах за кровное родство и вечную дружбу не было недостатка. Делегаты жаловались на только что совершившуюся “дуализацию” Австрийской империи (отныне она будет называться Австро-Венгрией). Они боялись “двойного немецко-мадьярского ига”. Для московских организаторов момент, напротив, выглядел идеальным. Если б можно было договориться со славянской интеллигенцией о будущей Федерации (на обломках Австро-Венгрии), это стало бы первым шагом к Всеславянскому союзу. Но договориться не удалось.

Первым препятствием оказалась Польша. Для Аксакова поляки, естественно, были “верными прихвостнями Западной Европы и латинства, давно изменившими братскому союзу славян” (7, с.109). Как ни нуждались в российской поддержке чехи, но эту позицию, к чести своей, они отвергли. С их точки зрения, Федерацию

следовало начинать именно с поляков. Переговоры с тюремщицей Польши о свободном союзе казались им бессмысленными. Впрочем, по части латинства и сами они были у славянофилов под подозрением. И потому второй загвоздкой стала религия. Конечно, для Аксакова проблемы тут не было: “Мы не видим никакой причины, почему, пользуясь свободой вероисповедывания, огражденного конституцией, не могли бы те из славян-католиков, которые разделяют наш образ мыслей, отречься от латинства, присоединиться к православию... и воздвигнуть православные храмы и в Праге, и в Берне, и в прочих латинских местах” (7, с.46).

Но загвоздка как раз и состояла в конституции. Для чехов она разумеется сама собою, хотя славянофилы, призывавшие их воспользоваться конституцией Австро-Венгрии, страстно отрицали ее в будущей славянской Федерации. Еще хуже, однако, было то, что грешили по этой части и сербы. Не успели они добиться независимости, как тотчас завели у себя “скупщину”, которая как две капли воды напоминала Аксакову “какое-то жалкое европейское представительство”. И вообще Сербия (или лучше сказать, ее правительство) постаралась поскорее перенять внешние формы европейской гражданственности.

Не было у славянофилов решения этого рокового противоречия. Вот так “православный мир”, половина которого состоит из “прихвостней латинства”! Хорош Союз, одна часть которого клянется самодержавием, а другая неудержимо тяготеет к “европейской гражданственности”. Одним словом, геополитические перспективы старой гвардии выглядели ничуть не лучше домашних.

Еще сложнее, однако, складывались их отношения с петербургским истеблишментом. Царь и слышать не желал о новой войне. Министерство финансов уверяло его, что война означала бы государственное банкротство. Министерство иностранных дел, со своей стороны, объясняло славянофилам, что война с турками вопреки Европе привела бы лишь к повторению Крымской катастрофы. Едва австрийские корпуса появятся на фланге русской армии, продвигающейся к Константинополю, придется бить отбой, как в 1854 г. Без согласия “самого коварного врага славянства”, стало быть, о войне за освобождение славян и думать нечего.

А согласие Австрии означало не только предательство “восточноевропейских братьев”. За него пришлось бы платить и независимостью “братьев” балканских. Например, в обмен на нейтралитет пришлось бы разрешить австрийцам оккупировать Боснию и Герцеговину. Так делалась тогда большая европейская политика, в которой славянофилы смыслили так же мало, как и в политике российской.

И никогда бы не сломить им эту вязкую бюрократическую инерцию, если б не пришли неожиданно на помощь два обстоятельства, кардинально менявшие всю картину. Ни одно не имело ничего общего с их расчетами на сотрудничество “братьев-славян”. Более того, если б они хоть на миг заподозрили, каких именно союзников уготовила им судьба, то, быть может, и отказались бы от всего панславистского предприятия. Ибо с такими союзниками не могло оно не закончиться новым глубочайшим унижением России. И на этот раз виною были не николаевские чиновники, а пламенные патриоты.

Чтобы утвердиться в новом статусе европейской сверхдержавы, Второму рейху требовалась крупная дипломатическая победа. Канцлер уже заявил изумленной Европе, что она “видит в новой Германии оплот всеобщего мира”. Это после трех-то войн (с Данией в 1864, с Австрией в 1866 и с Францией в 1870 г.)! Покуда это были одни разговоры. Требовалось дело. И так же, как Горчакову нужна была франко-прусская война, дабы разорвать Парижский договор, Бисмарку нужна была война, скажем, русско-турецкая. Чтобы предстать в глазах Европы верховным арбитром, “честным маклером”, и впрямь способным восстановить мир после жестокого конфликта.

Короче, столкнуть Россию с Турцией стало для него целью. Но как истинный гроссмейстер играл он сразу на нескольких досках. Он не забыл, например, вмешательства России в дела западноевропейские (совсем недавно, в 1875 г., она помешала его карательной экспедиции против Франции). Следовало поэтому дать ей так глубоко увязнуть на Балканах, чтобы ей было не до Европы.

Точно так же следовало развернуть лицом к Константинополю только что разгромленную им Австрию. Тут добивался он сразу трех целей. Во-первых, помогал ей забыть старые обиды и стать из врага союзником (например, предложив ей компенсацию за территориальные потери в Италии и в Германии – за счет той же Турции). Во-вторых, сделать ее инструментом немецкого влияния на Балканах, которые раньше были вотчиной Англии и России. И в-третьих, наконец, превратить ее в непреодолимый бастион на пути России в Константинополь.

Но все это упиралось в русско-турецкий конфликт, который следовало сначала разжечь и довести до войны, дав России возможность разгромить Турцию. Лишь затем, однако, отнять у нее плоды ее победы на международном конгрессе, где он, Бисмарк, как раз и выступит в роли великого миротворца.

Это была сложнейшая комбинация, о которой не только наивные славянофилы, но и Горчаков (Бисмарк его презирал, обозвав однажды “Нарциссом своей чернильницы”), не имели ни малейшего представления. После злополучной горчаковской депеши, окончательно уверившей Бисмарка, что политика России “наивна”, он не сомневался в своей способности ею манипулировать. Тем более, что в его распоряжении были панславистские страсти славянофилов. Их и намеревался он использовать в качестве пешки, которую настойчиво проталкивал в ферзи.

Другим обстоятельством, пришедшим на помощь славянофилам, были припадки имперской болезни, регулярно сотрясавшие Турцию. Она-то ведь тоже была евразийской империей. В принципе припадки эти не отличались от националистического наваждения, охватившего Россию в 1863 г., когда восстала Польша. Разница была лишь в том, что в составе Османской империи таких “Польш” было не меньше десятка, поэтому она практически не вылезала из “патриотических” конвульсий. Одна из них произошла в 1820-е годы во время греческого восстания. Число их нарастало. В 1866 г. восстали критяне, в 1875 – Герцеговина, еще через год – Болгария.

И на этот раз “патриотический зуд” охватил Османскую империю с такой силой, что вылился в антизападную революцию. Султан Абдул Азиз, друг России, был свергнут 30 мая 1875 г. группой “патриотических” пашей и заменен вождем непримиримых Мурадом V. “В то же время, – пишет русский историк, – националистическое движение в турецких провинциях быстро вырождалось в настоящую черносотенную анархию, напомилавшую погромы христиан в 1820-х годах. Жертвами черносотенных вспышек становились иногда даже европейские дипломаты (как это случилось с французским и германским консулами в Салониках мае 1876 г.). Попытка восстания болгар в родопских горах была поводом к такой свирепой резне, которая всколыхнула общественное мнение всей Европы и довела воинственное настроение русских славянофилов до крайних пределов” (3, вып.22, с.27-28).

Между тем события на самом вершине петербургского истеблишмента тоже шли в желательном для славянофилов (и Бисмарка) направлении. Императрица Мария Александровна, несмотря на свое немецкое происхождение, так горячо симпатизировала славянофильскому делу, что выбрала в наставники наследнику престола (вместо уволенного ею либерала Кавелина) самого свирепого в Петербурге охранителя самодержавия К.Победоносцева. Со временем это дало результаты. В Аничковом дворце под крылом воспитанника Победоносцева

сформировалась панславистская “партия войны”. Роль посредника между нею и Бисмарком исполнял брат императрицы принц Александр Гессенский, который сновал между Петербургом, Берлином и Веной, оркеструя русско-турецкий конфликт.

Это было посерьезнее Славянского благотворительного комитета. Но и его влияние Бисмарк, конечно, со счетов не сбрасывал. Тем более, что энергия, с которой комитет пытался возбудить общественное мнение в России против Турции, достойна была, он полагал, восхищения. По всей стране собирались деньги на “общеславянское дело”. Как пишет биограф Александра II, сборы производились в церквах, по благословению духовного начальства, путем подписки. Собранные полтора миллиона рублей были немалыми по тем временам деньгами.

При комитете создано было также вербовочное бюро для набора добровольцев в сербскую армию. И их тоже собралось немало, больше 6 тысяч человек. Среди них попадался, конечно, и просто бродячий люд, но были и отставные офицеры, и юные идеалисты вроде В.Гаршина. Аничков дворец откомандировал генерала Черняева, который принял командование сербской армией. Особую роль во всем этом играл русский посол в Константинополе генерал Игнатъев. На Балканах он был человек всемогущий, вице-султан, как его называли (у турок для него было, правда, другое прозвище – “отец лжи”). Весь свой авторитет употребил Игнатъев на подстрекательство сербов к войне.

Прокламации Славянского комитета, обличавшие “азиатскую орду, сидящую на развалинах древнего православного царства”, нисколько не уступали в своей ярости народовольческому. Турция именовалась в них “чудовищным злом и чудовищной ложью”, которая и существует-то лишь благодаря “совокупным усилиям всей Западной Европы”. И все это бурлило, соблазняя сердца и будоража умы, выливаясь в необыкновенное возбуждение.

Мечта о Царьграде распространилась по всему спектру славянофильской интеллигенции, даже на миг объединив “молодую гвардию” со старой. Достаточно сказать, что настроения Леонтьева полностью совпали тут с настроениями Достоевского, которого он терпеть не мог за “розовое”, по его мнению, христианство и, конечно, за “полулиберальный аксаковский стиль”. Сравним то, что писал Леонтьев (“молюсь, чтоб Господь позволил мне дожить до присоединения Царьграда. А все остальное приложится само собою”), с тем, что говорил тогда Достоевский: с Востока пронесется новое слово миру... которое может вновь спасти европейское человечество. В этом он видел назначение Востока. Но для такого назначения Константинополь должен быть отвоеван русскими у турок и остаться нашим навеки. Если исключить “спасение европейского человечества”, совпадение полное.

А события на Балканах шли тем временем своим чередом. 30 июня 1876 г. Сербия, обманутая Игнатъевым, объявила Турции войну. Продолжалась она, впрочем, недолго. Уже 17 октября войска Черняева были наголову разбиты под Дьюнишем. Турки шли на Белград. Князь Милан умолял прислать ему хоть две русские дивизии. Но Игнатъев ограничился лишь ультиматумом султану. Европа поддержала Россию. Лондонская “Дейли ньюс” писала: “Если перед нами альтернатива – предоставить Боснию, Герцеговину и Болгарию турецкому произволу или дать России овладеть ими, то пусть Россия берет их – и Бог с ней”.

Оставшись в одиночестве, Турция уступила. Сербия была спасена. Но что делать дальше – никто не знал. Александр II, сопротивлявшийся войне с самого начала, сделал неожиданный ход, обратившись к посредничеству Лондона и предложив созвать европейскую конференцию. Беседуя с английским послом, царь заверил его, что правительство России не только не поощряет “лихорадочное возбуждение” в обществе, на которое жаловался посол, а,

напротив, стремится “погасить его струей холодной воды”. Он честным словом поручился, что никаких завоевательных планов у него нет.

Содержание беседы, да и сам факт обращения царя к посредничеству Лондона, а не Берлина, делают совершенно очевидным, что две точки зрения и две, условно говоря, партии боролись внутри русского правительства, и лишь одна из них действовала по сценарию Бисмарка. Это противоречие еще не раз проявится в российской политике и приведет, в конечном счете, к тому, к чему и должно было привести: к конфронтации с Германией. Но пока что и высокопоставленные националисты из Аничкова дворца, и славянофильская старая гвардия продолжали, как по нотам, разыгрывать бисмарковскую музыку. И турки им по-прежнему подыгрывали. И все вместе они – лютые и непримиримые враги – звучали как один слаженный оркестр.

Англия предложила программу международной конференции. И царь, который, по замечанию французского историка, “искренне и честно стремился обеспечить успех последней попытки к примирению”, принял ее. Вот эту-то Константинопольскую конференцию турки и сорвали, неожиданно объявив, что султан “жалует империи конституцию”, открывая “новую эру благоденствия для всех оттоманских народов”. Иными словами, что отныне нет нужды ни в каких реформах. Все европейские послы покинули Константинополь. Это означало войну. Соппротивление “партии мира” в Петербурге было сломлено.

Единственное, что теперь оставалось, – обратиться за помощью к другу Бисмарку, который два десятилетия клялся в любви к России. В союзе с ним можно было не только без труда усмирить Турцию, но и взять, не исключено, Константинополь. По меньшей мере, поскольку его слово было законом для Австрии, он мог, если б захотел, запросто обеспечить ее нейтралитет, без которого наступление русской армии за Дунай было немыслимо. Вот тут-то и показал старый друг в первый раз зубы. О непосредственном вмешательстве Германии в восточный конфликт и речи, оказалось, быть не могло. “В миссию Германской империи, – ответил он челобитчикам, – не входит предоставлять своих подданных другим державам и жертвовать их кровью и имуществом ради удовлетворения желаний наших соседей”. Горчакову бы так ответить Бисмарку в 1870 г., когда тот умолял Россию прикрыть тыл и фланги наступающей прусской армии! Мало того, Бисмарк наотрез отказался даже воздействовать на Австрию. Теперь, когда он загнал Россию в тупик и выйти из него без потери лица было уже невозможно, он не хотел помогать ей вообще.

И отныне было поздно сожалеть о прошлых ошибках. Россию с головой выдали “самому коварному врагу славянства”. А тот, естественно, назначил за свой дружественный нейтралитет цену – Боснию и Герцеговину. И поставил жесткое условие: на Балканах не должно быть создано одно “сплошное” славянское государство. Так, не пролив ни капли крови, Австрия достигала всех своих целей и вдобавок приобретала еще изрядный кусок славянских Балкан.

Александр II мог теперь перефразировать то, что сказал он в 1871 г. о депеше Горчакова: мы оказались больше австрийцами, чем сами австрийцы. Только сказать этого вслух он не посмел бы. Соглашение с Австрией должно было оставаться секретом от славянофилов. Они бы никогда ему такого предательства не простили. Так или иначе, 12 апреля 1877 г. Россия объявила войну Турции.

ОТЫГРАННАЯ КАРТА

Здесь не место описывать русско-турецкую войну, затянувшуюся почти на год. Исход ее был предрешен. Даже при крайнем напряжении сил турки могли выставить в поле не более 500 тысяч штыков, половина из них – необученных. Им противостояла полуторамиллионная армия обученных русских солдат.

Спланирована кампания, однако, была, как всегда, из рук вон: три бездарных штурма Плевны, на подступах к которой положили целую армию (в конечном счете Плевну взял правильной осадой герой Севастополя Тотлебен). Выручила отвага русских солдат, их героическая защита Шипки, спасшая судьбу кампании. Однако победоносная армия, спускавшаяся с Балкан, была в состоянии отчаянном. Как записывал офицер главной квартиры, “наше победное шествие совершается теперь войсками в рубищах, без сапог, почти без патронов, зарядов и артиллерии”.

И все же результат был налицо: турецкая армия перестала существовать. Путь к вожденному Константинополю казался открытым. 19 февраля 1877 г. в пригороде Стамбула Сан-Стефано генерал Игнатъев и турецкие уполномоченные подписали мирный договор. Увы, обе стороны продолжали работать по сценарию Бисмарка. Высокопоставленные славянофилы, разочарованные, как мы помним, франкофильством черногорцев и склонностью сербов к “европейской гражданственности”, всегда возлагали главную надежду на “забытое, забытое болгарское племя”. Потому и спланировали, в нарушение договора с Австрией, новое болгарское государство величиною с половину Балкан – от Черного и Эгейского морей до самой Албании на Адриатическом. Великой Болгарии предстояло, естественно, быть оккупированной русскими войсками. Турки же соглашались на все русские условия. Им было ясно: чем больше они уступят, тем вероятнее возмущение Европы – и международная конференция, а именно этого добивался Бисмарк.

Расчет турок был, разумеется, точным. Австрия, усмотрев в Сан-Стефанском договоре явное нарушение секретной договоренности с Россией, объявила мобилизацию. Английский флот стал на якорь у Принцевых островов в виду Константинополя. Все теперь свелось к позиции Германии. И Бисмарк, совсем недавно заявлявший, что весь восточный вопрос “не стоит костей одного померанского гренадера”, вдруг согласился стать посредником между конфликтующими сторонами. Нет, он, конечно, не собирается “играть роль судьи и наставника Европы”, но если державы согласятся встретиться в Берлине, он великодушно возьмет на себя роль миротворца или, говоря его словами, “честного маклера”.

Карта панславизма, с другой стороны, была в его глазах отыграна. В славянофилах он больше не нуждался. Горчаков и Шувалов, как замечает французский историк, к великому своему изумлению уже не нашли у Бисмарка того расположения к России, на которое они рассчитывали: одно лишь холодное и суровое беспристрастие, ни малейшей поддержки ни в чем.

Берлинский конгресс, открывшийся в июне 1878 г., разделил Болгарию, задуманную как главный инструмент российского влияния на Балканах, на три части, одним ударом лишив тем самым Россию всех плодов победы. И словно в насмешку над славянофильскими надеждами “забытое, забытое болгарское племя”, едва обретя независимость, устремилось туда же, куда прежде него рванулись и греки, и сербы, и даже черногорцы, т.е. к проклятой “европейской гражданственности”. А Россия что ж? Она с чем была, с тем и осталась. Хуже того, поссорившись со вчерашней союзницей Румынией (у которой она отняла Бессарабию), Россия оказалась дальше от Константинополя, чем когда бы то ни было.

Англия, вместе с тем, получила Кипр, Австрия – Боснию и Герцеговину. На самом деле, как и запланировал Бисмарк, Австрия была теперь куда ближе России к Константинополю. “В истории немного найдется таких странных и несправедливых решений”, – заключает тот же французский историк.

ЗАЧЕМ НУЖНА БЫЛА ВОЙНА?

Невозможно описать разочарование, чтоб не сказать отчаяние, славянофильской интеллигенции. После всех вложенных в “освобождение славян” усилий, после всех надежд и упований, связанных с Константинополем, после десятков тысяч жизней, положенных на болгарских полях, закончить ничем? Старая гвардия никогда не простила этого Александру II.

Что было, впрочем, несправедливо. Во-первых, он не делал секрета из своей принадлежности к “партии мира” и толкали его на войну именно они, славянофилы. А во-вторых, император ведь тоже не обрадовался такому исходу. Все предприятие не имело смысла.

Зачем, собственно, нужна была России эта война? Если исключить полубезумные и совершенно безосновательные грезы славянофилов о Всеславянском союзе и еще более эфемерные надежды Достоевского на “спасение европейского человечества” посредством русского господства в Константинополе, то и вправду – зачем? Пожалуй, один лишь В.Соловьев задумывался тогда над этим основополагающим вопросом: “Но самое важное было бы узнать, с чем, во имя чего можем мы вступить в Константинополь? Что можем мы принести туда, кроме языческой идеи абсолютного государства, принципов цезарепапизма, заимствованных нами у греков и уже погубивших Византию? Нет, не этой России, изменившей лучшим своим воспоминаниям, России, одержимой слепым национализмом и необузданным обскурантизмом, не ей овладеть когда-либо Вторым Римом” (2, с.358).

Разумеется, за всей славянофильской декламацией могли в принципе стоять и вполне прагматические соображения. Например, о Балканах как о потенциальном рынке для российской индустрии. Или геополитические имперские намерения контролировать Босфор. Могли стоять, но ведь не стояли же. Немыслимо даже представить себе, чтобы тогдашние купеческие тузы оказались сильнее “партии мира”, возглавляемой самим царем. А что до контроля над проливами, то ведь, как мы помним, у России и флота в ту пору не было. Куда уж ей с ее пятью вооруженными коммерческими пароходами против 20 турецких броненосных судов, не говоря уже о самом могущественном тогда английском флоте, который тоже стоял на причале у Константинополя...

Просто нет другого объяснения причин этой злополучной войны, кроме очередного приступа имперской болезни, искусно разожженной Бисмарком с помощью славянофилов. При предрасположенности России к этой болезни – и при постоянном отныне присутствии в ней мощного националистического движения, намного превосходящего разрозненные либерально-патриотические силы, – она была еще вдобавок открыта для манипуляций извне. В 1870-е годы в роли манипулятора выступил Бисмарк. В 1910-е аналогичную роль сыграли западные союзники, втянувшие Россию в ненужную и гибельную для нее мировую войну.

Конечно, заплатили они за это дорогую цену, сделав практически неизбежными и “красный перепуг” после 1917, и вторую мировую бойню, и холодную войну, растянувшуюся на полстолетия. Но когда же способны были политики смотреть дальше сиюминутного расчета? Мы знаем, что даже такой политический гроссмейстер, как Бисмарк, искусно манипулировавший Европой на протяжении десятилетий, кончил все-таки тем, что обрек собственную страну на “национальное самоуничтожение”.

1. “Московский сборник”, 1887, с.81.
2. Соловьев В.С. Собр. соч. СПб., 1902-1907, т.5.
3. История России в XIX веке. М., 1907.

4. Цит. по: Трубецкой С.Н. Противоречия нашей культуры. – “Вестник Европы”, 1894, № 3 8, с.510.
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1871, с.426.
6. “Вестник Европы”, 1885, № 12, с.909.
7. Аксаков И.С. Собр. соч. М., 1886-1887, т.1, с.5.
8. История XIX века. М., 1938, т.6.